

Один из самых замечательных театров, которые я знаю и помню, — театр Дмитрия Журавлева. В этом театре не было ни декораций, ни кулис, ни занавеса, ни музыки — весь он был создан артистическим воображением чтеца-художника. Впрочем, скучное слово "чтец" кажется мне неприменимым к Журавлеву. Скорее гениальный читатель, не устававший перечитывать заветные страницы, восхищаться, удивляться, открывать в них все новые и новые красоты. Он жаждал и умел делиться своим уникальным талантом читателя с огромной аудиторией. В этом ему помогал его высокий дар Артиста, дар огня, патетики, душевного жара.

Я помню, как он стремительно выходил на эстраду, останавливался у рояля и ожидал тишины. Тишина должна была быть полной. Вот, кажется, она наступила. Но вдруг упал, звякнув, чей-то номерок от пальто, в зале шорох, тихий смех, добродушно улыбнулся и Журавлев, но опять ждет. Публике передавалось его волнение, атмосфера концертов была радостно благоговейной, любовно трепетной. Каждое выступление было для Журавлева испытанием и праздником, значительнейшим событием жизни. Разве можно назвать просто "чтением" ту увлекательную работу творческого воображения, которая совершалась на его концертах. Журавлев говорил, по слову Станиславского, не уху, а глазу, он рисовал картины одну ярче другой, выводил на воображаемую сцену воображаемого театра вереницу людей, нарисованных меткими, легкими штрихами. Небрежно-уверенные линии рисунка, графики и сочные живописные мазки — все это было доступно Журавлеву-художнику.

Да, его искусство для меня это, пожалуй, прежде всего "живопись словом". Сам он сказал однажды — "ничего не нужно объяснять, растолковывать, нужно рисовать картины". На концерте Журавлева я не только слышал, но и видел ничуть не меньше, чем в самом большом и солидном театре, затрачивающем сотни тысяч на декорации и оформление. А многое, очень многое удавалось Журавлеву куда лучше, чем в любом театре.

Всем известно, как трудно играть и ставить пьесы Пушкина. Это почти никогда не получается. Когда Моцарт сидит за фанерным, бутафорским клавишином и кто-то играет вместо него, в то время как он, сделав вдохновенное лицо, ударяет по деревянным клавишам, я сразу перестаю верить, что это Моцарт, гений, творец. И даже подлинная, изумительная музыка великого композитора, сыгранная где-то за кулисами или внизу в оркестре театральным концертмейстером, перестает доходить до моего сердца.

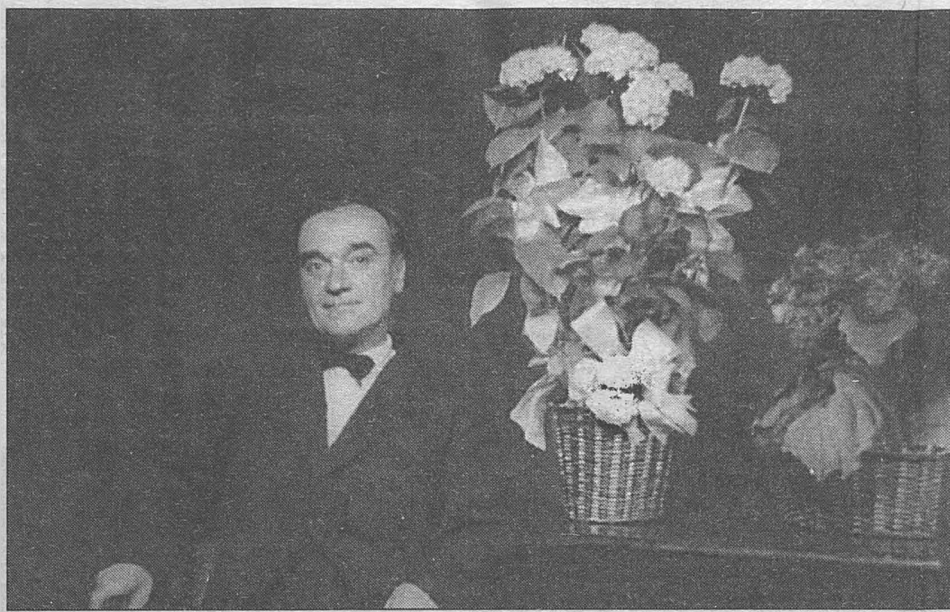
А когда Журавлев, читая на эстраде "Моцарта и Сальери", произносил одно слово скупой пушкинской ремарки — "играет", я начинал слышать божественную музыку и видеть вдохновенное лицо Моцарта, бледное лицо измученного завистью Сальери. Видеть, потому что это видел сам Журавлев.

Однажды знаменитую сцену у фонтана из "Бориса Годунова" читал Журавлев в каком-то клубе. После выступления к нему подошел один слушатель и сказал: "Вот вы произнесли слова — "сад, фонтан", и я сразу представил себе яблоневый сад". Это неважно, что в старинном парке Вишневецких, наверное, не было яблоневых деревьев, слушатель в своем воображении увидел самый волшебный сад, который он мог себе представить, который видел в жизни. Журавлев дал толчок его воображению, его фантазии, а ведь это и есть самое главное, самое увлекательное в искусстве.

В чеховской "Даме с собачкой" есть фраза — "Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел". И вот однажды, повторяя "Даму с собачкой" к очередному концерту, Журавлев вдруг вспомнил, что в Крыму дорожки бьются усыпаны мелкими ракушками, которые трещат под ногами.

А как-то после одного концерта в Ленинграде известная актриса сказала Журавлеву — "Удивительно, как сегодня зашелевели, заскрипели ракушки под ногами человека, который подошел к Гурову и Анне Сергеевне". Она услышала скрип этих ракушек, потому что он жил в воображении, во внутреннем слухе Журавлева.

Театр Журавлева — особый театр. В нем он не изображал того или иного человека, а рассказывал о нем, рисовал его образ. Сам артист говорил: "Можно изобразить, показать, сыграть скорбь Василисы из рас-



Театр Дмитрия Журавлева

Борис ЛЬВОВ-АНОХИН

сказа Чехова "На святках", а можно вызвать этот скорбный образ в своем воображении и послать его зрителю. И тогда в его сознании этот образ будет стоять навеки, как фигура, вырубленная Микельанджело, потому что слушатель, заразившись моим внутренним видением, сам будет создавать его в своем собственном воображении. А это самое сильное в искусстве".

Журавлев умел вдруг раскрыть глубину и значение фразы, мимо которой вы можете пройти, читая рассказ сами.

Вот старуха Василиса ("На святках") встает на рассвете, чтобы отнести на станцию письмо дочери, написанное Егором. "До станции было одиннадцать верст", — Журавлев так говорил эту простую чеховскую фразу, что вы ясно представляли себе, как понуро и долго будет брести старуха одиннадцать верст до станции и столько же обратно, чтобы отправить это бессмысленное письмо. Я всегда в этом месте представлял себе согнутую спину, шаркающие обутые в лапти ноги старухи. И вы чувствуете, что вся ее жизнь так же тяжела и безнадежна, как этот одинокий путь на станцию.

"Как бы вы действовали, если бы вы были принц датский, если бы ваш отец умер, а мать вышла за другого и т.д." — любит говорить актерам Станиславский. Вот в этом магическом "если бы" и заключен весь секрет сценического творчества.

Но ведь Журавлев не играл ту или иную роль, он читал, рассказывал. Но рассказывал так, **если бы** сам все это видел, пережил, присутствовал при этих событиях, хорошо знал всех людей, о которых говорил. Журавлев умел добиваться удивительной свободы, непринужденности, непосредственности рассказа. Читая "Кармен" П.Мериме, он словно все время удивлялся тому, что "вытворяет" героиня новеллы, он делился со слушателем своим искренним изумлением от встречи с таким неожиданным, неукротимым, своенравным созданием.

Каждого автора Журавлев ощущал очень по-своему, очень индивидуально.

"Замечательный музыкант и педагог Генрих Нейгауз, — говорил Журавлев, — разделял пианистов по тому, как они говорили: "Я играю Шопена" или "Я играю Шопена". Так вот я за вторых. Иными словами, всякий раз пытаюсь максимально постичь автора, ощутить его мир, его стиль, услышать его голос.

Толстой — это огромная художественная настоящность, полнота. Все у него потрясающе четко и ясно, он властно договаривает все до конца, до полной и беспощадной ясности.

Чехов — не менее убежденный художник, но он ни на чем не настаивает, не хочет впрямую "учить", ничего не хочет навязывать, он как бы заставляет читателя самого думать и делать выводы".

Творческое воображение Журавлева —

пламенное, романтическое, бурное. Он был порывист и страстен, от этого — неровен, читал по-разному. Не всегда удачно, но бывали у него концерты, которые давали право сказать, что этот человек знает, что такое истинное вдохновение.

Помню, как, читая тургеневские "Записки охотника", он произносил какую-то фразу о Мочалове так, что я вдруг явственно ощутил бурный пламень, бушевавший в груди русского трагика и одушевлявший простых людей вроде героя тургеневского рассказа.

Что же касается мастерства Журавлева, его артистичности, то в ней было много от вахтанговской школы, от вахтанговского театра, где он начинал свой путь в искусстве. Легкость, умная ироничность, жизнерадостность, какая-то праздничная приподнятость, — все это черты "вахтанговского начала".

Читая Пушкина, Журавлев озарялся счастьем, радостью и этим своим счастьем делился со слушателями. Он торопился, спешил (разумеется, не в буквальном смысле слова) развернуть все красоты, отметить каждое меткое слово, каждую прекрасную рифму, сам ликовал, удивлялся и с торжествующим лукавством, хитро прищурив сияющие, смеющиеся глаза, стремился удивить нас этой вдохновенной игрой гениальной мысли. Он читал Пушкина благоговейно и в то же время озорно. Гениальное "легкомыслие", какая-то неумная, кипучая шутливость и вдруг, как тень в солнечный день, глубокая печаль и мудрость.

Он как будто просто душою "хвастался", очаровательно "бахвалился" — вот какой у нас поэт! Как будто внутри у него все время звенела, пела знаменитая фраза — "Ай да Пушкин, ай да сукин сын!"

Журавлев по многу лет читал и шлифовал свои лучшие вещи. У него были всегдашние "спутники" — Пушкин, Толстой, Чехов, Тургенев.

"Работа над "Медным всадником" продолжается уже 30 лет, — говорил Журавлев. — "Даму с собачкой" я читаю 20 лет, отрывки из "Войны и мира" — 25 лет. И до сих пор не считаю эти работы законченными, продолжаю искать и пробовать". И говорил это задолго до конца его творческого пути.

Журавлев был цельным и честным художником. Он ничего не делал ради конъюнктуры, ради так называемой злободневности или моды. Ни разу не произнес со сцены строчки, в литературной ценности которой не был бы убежден.

Дмитрий Николаевич искренно, ненасытно интересовался жизнью, людьми, искусством. Страстно любил живопись, мог часами простаивать перед картинами великих мастеров, без конца рассматривать их рисунки, репродукции, книги об их творчестве. Эта "жадность" к живописи, к краскам представляется мне понятной и закономерной — она помогала актеру создавать

в своем воображении нужные картины и образы, насыщать свою фантазию всеми красками солнечного спектра.

У Журавлева дома висели две акварели замечательного художника М.В.Нестерова — своеобразная благодарность за то, что Журавлев читал ему свои композиции, внимательно выслушивая потом его замечания, подчас весьма резкие. Журавлев благодарно вспоминал своих знаменитых слушателей — О.Книппер-Чехову, В.Качалова, Н.Шпиллер и других. Во время войны на его концерте в Перми в первом ряду он заметил слушательницу, на лице которой отражалось все, что он читал, как будто она смотрела непрерывную киноленту. Оказалось, что это — А.Ваганова. Однажды он читал в Малом театре. Среди прочих его слушали три великие "старухи" — А.Яблочкина, Е.Турчанинова, В.Рыжова. Последняя реагировала, как самый непосредственный ребенок. А Яблочкина, когда Журавлев кончил читать, сказала Турчаниновой: "Дунечка, в наше время так долго не читали". Журавлев любил рассказывать об этом случае, он вообще любил говорить о себе с юмором.

Встреча с подлинной артистичностью, подлинным мастерством всегда поражала его как некое чудо природы и искусства, вызвала всплеск самой горячей и искренней благодарности. Он умел восхищаться, преклоняться, благоговеть. Его восторги были бурными, выражались порой весьма романтически. Где бы Журавлев ни встречал Галину Уланову, он неизменно бросался перед ней на колени, приводя ее в немалое смущение. Он был необычайно щедр и великодушен в своих творческих симпатиях.

Помню, как я был смущен, когда он подарил мне свою книжечку "Беседы об искусстве чтеца" с такой надписью: "Не откажите в просьбе просмотреть эти "беседы". Ваше мнение мне очень дорого. Вы знаете, как ценю я Вас — художника.

Почитатель Вашего таланта давний и преданный
6-XII-77 г. Д.Журавлев".

Нечего говорить, что почитателем и бесконечно почитательным был я. Но эта неуемная, восторженная щедрость маститого, знаменитого артиста не могла не трогать, юношеская преувеличенность эмоций вызвала улыбку и нежность.

Прекрасный вахтанговский актер О.Басов подарил Журавлеву свою фотографию с таким напутствием — "Трепетно оберегайте вашу веру в большое искусство". Журавлев пронес эту веру через всю жизнь, он именно трепетно оберегал ее от всего суетного и наносного. Он работал неутомимо, вдохновенно, терзая себя высотой своих собственных требований, огромной мерой взыскательности. Работал мучительно долго, приходило то в отчаяние, то в восторг, то в ярость, но всегда упорно и самоотверженно.

Все это и позволило Галине Сергеевне Улановой написать на своем портрете, подаренном Журавлеву, простые, полные большого смысла слова: "Человеку настоящего искусства".

